Интервью, данное Юрием Карабчиевским Сергею Шаповалу в

Юрий Карабчиевский
Сергей Шеповал

SHOUT
SHARE
IT

- Интервью, данное Юрием Карабчиевским Сергею Шеповалу в апреле 1992 года
  -
  - Мой идеал — предельно близкий разговор с читателем…

Интервью, данное Юрием Карабчиевским Сергею Шеповалу в апреле 1992 года

(возможно, это последнее интервью с Юрием Карабчиевским)

Интервью опубликовано в журнале «Уральская новь», 1998, № 1.

Мой идеал — предельно близкий разговор с читателем…

— Я родился в 1938 году, москвич, вечный и постоянный. Технарь — тоже постоянный, с детства. Почти всю жизнь литература и техника были для меня параллельными занятиями, только за одно платили, за другое — нет. Окончил приборостроительный техникум, потом Московский энергетический институт по автоматике и вычислительной технике. В середине 60-х годов опубликовал здесь несколько стихотворений. На этом все, едва начавшись, кончилось. Вернее так: после Праги, после 68-го года, я сам решил, что все здесь для меня кончилось, и 20 лет не публиковался, до 1988 года. На Западе первая публикация была в 1974 году: эссе «Улица Мандельштама» в «Вестнике РХД». В сокращенном виде оно было напечатано в «Юности» в 1991 году. Начиная с 1974 года, писал прозу и всякую прочую филологию. Публиковался во многих западных журналах: «Грани», «Время и мы», «22», «Страна и мир». У нас — в альманахе «Метрополь». До осени 1989 года (15 лет) работал наладчиком на заводе, занимался ремонтом электронной аппаратуры. Так что я совсем недавно перешел на вольные литературные хлеба.

* * *

— Юрий, как вы начали писать прозу? Что было побудительным мотивом?

— Ну как начинают поэты писать прозу? Мне было 36 лет, я считал себя поэтом, да и сейчас не отказываюсь, к своим стихам отношусь достаточно серьезно. Отчего проза? Пожалуй, главным побудительным мотивом было ощущение за плечами какого-то особого пласта жизни, в литературе совершенно не отраженного. И дело тут не только в евреях. Я вообще не люблю, когда говорят, что то, что меня занимает в прозе, — еврейская тема. Тема — жизнь, обстоятельства, люди, взаимоотношения. Но я пишу только о том, что хорошо знаю. В конечном счете — только о себе, даже когда и не о себе, когда, допустим, о Маяковском. Кроме того был боковой мотив: не просто рассказать о том, о чем не рассказано, а еще и о том, о чем говорить нельзя. Может быть, это было не всегда плодотворно, но такое соображение существовало.

— Для литературы, находившейся в подполье, по-новому вставала проблема взаимоотношений с читателем. Читатели были известны, с ними можно было разговаривать, видеть их глаза. Сейчас книги уходят в неведомое пространство, читатель стал анонимным. Для некоторых писателей эта ситуация довольно болезненна. Для вас было важно, чтобы ваши книги были опубликованы и читатель был вам неведом, или вас устраивал очень узкий круг читателей?

— Конечно, мне хотелось, чтобы мой читатель был мне не известен. Хотя большую часть жизни я прожил именно так: когда круг читателей определялся двумя-тремя десятками людей. Каждый раз было маленьким праздником, когда обнаруживалось, что какое-то мое произведение знает незнакомый мне человек. Помните, Мандельштам в статье «О собеседнике» говорит, что известному можно сказать только известное. Я не знаю, кривят ли душой писатели, когда говорят, что для них не важно, чтобы был большой неизвестный читатель. Может быть, они говорят правду. Но меня не устраивает круг знакомых, я расчитывал на другое. Хотя, конечно, был готов довольствоваться этим при жизни и никак не ожидал, что мои книги будут так скоро опубликованы здесь. Это стало для меня подарком и совершенной неожиданностью. Но обращался я к читателю вообще, а не к своим знакомым. Знакомые могут быть главными судьями, ты можешь с ними мысленно разговаривать, когда пишешь, а все равно через их головы обращаешься к неизвестному тебе читателю. Когда разговариваешь со знакомыми и внутренне обращаешься только к ним очень трудно уйти от уровня капустника, домашнего творчества. Я это увидел сейчас, когда пожил в Израиле. Там ясно ощущаешь, как снижается уровень требований к себе, он снижается в твоем воображении, в твоем подсознании, потому что все читатели — твои приятели, все тебе и друг другу известны. Писатель обращается к знакомому или знакомому знакомого, теоретически все все равно знакомы. Я считаю, для литературы это губительно.

— В «Незабвенном Мишуне» вы описали ваше посещение Лубянки. Какие проблемы были у вас с КГБ?

— «Колпак» я ощущал постоянно до 1986 года. Была непрерывная слежка, часто демонстративная, особенно жестко меня «вели» до появления «Метрополя». Для меня «Метрополь» явился легализацией: я-то был никому не известен, а тут присоединился к известной группе литераторов.

— А кто, кстати, вас туда позвал?

— Андрей Битов.

После этого я почувствовал смягчение обстановки. Потом

бывали разные периоды: и более опасные, и менее. В КГБ на допросе я был только однажды, все происходило примерно так, как это и описано в «Мишуне». Меня взяли прямо с завода. Замечательно реагировали мои коллеги-работяги: никто не задал ни одного вопроса, ни тогда, ни потом, сработал инстинкт самосохранения — ничего для них как бы не было… Допрос был единственным, но следователь, расчитывал на еще. Разговор продолжался часа полтора-два. На столе у него лежали номера «Граней» с моими публикациями. Был номер и с отрывками из «Жизни Александра Зильбера», я их там впервые увидел, полистал. Он спросил: а можно этот роман прочесть целиком? Я ответил: можно, почему же нет. Он говорит: а вы могли бы принести? И я, балбес, сказал: да. — Хорошо, тогда через неделю заходите. Я, конечно, через неделю никуда не пошел, проклял свое дурацкое обещание. Через две недели он позвонил: вот вы собирались прийти и не явились (это уже был его прокол), вам что-то помешало или сами не захотели? — Сам не захотел. — А почему? — Да незачем, нет у меня с вами никаких общих дел. — Ну тогда мы с вами будем разговаривать иначе! Больше, однако, никаких разговоров не было, но начались всякие демонстрации. Звонит телефон, женский голос говорит: х… соси. Теряешься: от мужика такое услышать, а тут женщина… На какое-то время отключают телефон. Мою жену полтора-два месяца провожал на работу откровенный гебэшник, демонстрировал, что знает много подробностей о нашей семье. Документы у меня проверяли все эти годы, даже у собственного подъезда, когда гулял с собачкой… Я, впрочем, не люблю эти жалобы, они нелепы. Слава Богу, что все это пропало, сгинуло, но в общем-то все было правильно: каждый жил так, как выбрал, как сам захотел.

— В какую литературную традицию вы себя включаете?

— Понятно, что я сугубый кондовый реалист, с одной поправкой… Я для себя (условно, конечно) литературу делю на литературу как изделие и литературу как разговор. Я считаю, что литература как изделие — вещь совершенно необходимая, но все-таки вспомогательная. Она подготавливает почву и возможности для литературы как разговора. Если брать литературу профессиональную, высокого уровня, то для меня литература как разговор стоит на первом плане. Когда я говорю, что я реалист, то это только для того, чтобы как-то себя назвать, в какой-то реестр зачислить. При всем моем внимании и любви к слову, для меня это все-таки только средство. Слово не самодостаточно. Я для себя определяю суть работы как разговор с читателем — при минимальном расстоянии между ним и автором. Причем это совсем не противоречит тому, что читатель должен быть тебе не

известен, что он должен быть рассредоточен в пространстве и времени. Мне кажется, как раз из этого парадокса и должно рождаться настоящее искусство: с одной стороны, читатель тебе не известен, отдален во времени, а с другой стороны — предельно близкое расстояние, до интимности, между автором и читателем. Вот мой идеал, то, чего я хотел бы. И не только от себя, но и от книг, которые читаю. Я вижу в развитии искусства, и литературы в частности, тенденцию к предельной индивидуализации. Я часто вспоминаю слова Шпенглера в «Закате Европы» о том, что в античном мире даже дневник был эпическим, а в фаустовское время — даже эпос дневниковым. Короче говоря, мне важен автор. Поэтому я очень настороженно отношусь к современной молодой прозе, хотя там есть замечательно талантливые люди… Идет волна литературы «плохих людей». Они на самом деле, может быть, не такие плохие, как правило, они все образованные, умные… Но автор, возникающий за текстом, ужасен. Я такой литературы для себя не хочу, я бы охотно без нее обошелся…

— Кто из мира литературы на вас повлиял?

— Если отодвинуть XIX век, поскольку тут мы все вышли из одних и тех же «шинелей», то для меня прозаик номер один послевоенного периода — Андрей Битов. Я его наблюдаю и читаю с самых первых вещей. Не так много людей, которые не просто написали хорошие книги, а что-то сделали в литературе. Вот он — сделал. Нельзя еще точно определить, что именно. Он не просто ввел какой-то прием или, допустим, расширил лексику. Куда ее можно расширить? Количество матерных выражений невелико, тут больших возможностей я не вижу, если даже принять, что это необходимо…

Вообще должен сказать в связи с матом, что у меня ощущение какого-то искусственного надрыва в этой области, совершенно не соответствующего той роли, какую играет мат в обыденной жизни. Я прожил в низах городского общества и не чураюсь этих выражений, но они даже в устной речи простонародья не занимают такого места, какое заняли в современной литературе. Это очень искусственно и, на мой взгляд, бесплодно. Теряется иерархия слов, возможность новых акцентов, оттенков, потому что ведь это предел, тупик — сказал и дальше уже двигаться некуда. Так же как — если человека раздеть, то что ж, дальше уже…

— Только разрезать…

— Что и делается! А теперь мы тебя разрежем: вытащим печеночку, сердчишко… Но к душе, между прочим, ни на шаг не приблизимся, уж скорее наоборот…

Битов открыл новую область исследования, при этом обнаружив абсолютный уровень в слове. Но главное, не в обиду будь сказано другим замечательным писателям, Андрей Битов — умный человек, а это редко бывает. В литературе, мне кажется, умных людей гораздо меньше, чем людей талантливых. Даже читая его не вполне удачные произведения, ты чувствуешь, что общаешься с умным человеком. Это очень лестно для читателя, это просто незаменимо.

Если же говорить о влиянии, то на меня, пожалуй, больше всего повлияла популярная советская литература. В молодости я только ее и читал, я ведь жил в ограниченном, замкнутом мире. Даже русскую классику стал читать позже, во вторую очередь. Это как-то отложилось, осталось в подсознании. Я понимаю, что здесь открывается прекрасная возможность меня уличить: ага, понятно, в чем дело… Тем не менее, было именно так: Аркадий Гайдар, Лев Кассиль, Вениамин Каверин (первой частью «Двух капитанов»), Вера Панова, Константин Симонов (как поэт, конечно)… Как ни странно, в этих книгах была попытка сделать то, о чем я здесь говорил: максимально приблизить к себе читателя. Я недавно перечитывал куски из «Судьбы барабанщика». Очень хорошая книга, на полном серьезе. То были книги, где делалась попытка прямого непосредственного разговора. Там была совершенно лживая база, понятно, там были придуманные обстоятельства. Но были и непридуманные. Часто как раз бытовые подробности бывали очень точны и правдивы, да и психологические, впрочем, — тоже, пока это не выходило за рамки комнаты. Так что, да, это повлияло на меня в первую очередь. А потом уж Достоевский, которого я решительно предпочитаю Толстому, допустим. У Толстого я люблю маленькие вещи — «Холстомер», «Казаки», «Смерть Ивана Ильича», — но я не очень люблю его романы. Бывают разные периоды, одно время я его вообще не принимал, потом стал пересматривать, перечитывать. Может быть, я еще изменюсь с годами, если успею. Очень мало времени осталось…

— А как возникла ваша книга о Маяковском?

— Маяковского я в юности очень любил, это, наверное, и по книге видно. Потом он как-то отодвинулся в сторону в период пересмотра всего и вся, когда всех заслонила «большая четверка», дальше возник Серебряный век и т. д. О Маяковском уже и не думалось. В один из субботников на заводе мы топтались в ожидании, когда нас погонят на работу, и я вдруг обратил внимание на стенд, которого раньше не замечал, где были строчки из Маяковского про Ленина. Я подумал: что же он такое — Маяковский? Надо посмотреть, перечитать, быть может,

написать статью. Я стал понемногу посматривать, почитывать и начал писать как-будто статью, а потом увидел, что статьей не отделаешься, так много на этого человека навешивается и в литературе, и в жизни, что это хороший повод для большого разговора, вернее, он как личность, как явление генерирует большой разговор. Здесь открылась прекрасная возможность поговорить о связи творчества и жизни, человека и творчества. Были, впрочем, и побочные мотивы. Мне всегда казалось, что современная русская филология, за редкими исключениями, ужасно неинтересная. Это, прежде всего, плохая литература, а филология не имеет права быть плохой литературой. Мне захотелось написать интересно, такое вот простое желание… Потом я стал перечитывать все, что уже написано о Маяковском, и увидел, что почти ничего не написано, во-первых, правдиво, во-вторых, хорошо. И третий мотив, совсем уж побочный, который тогда казался достаточно важным, — хотелось вставить большое перо советской власти. Это был очень хороший повод. Я начал писать книгу в 1980 году, когда злости накопилось вполне достаточно. Прямые проклятия меня не привлекали, а вот увидеть губительность этой безумной системы опосредованно было очень заманчиво. Может быть в этом я кое-где даже перехлестнул, но это неизбежные издержки производства.

— Скажите, Юрий, много ли вами написано и что еще не издано?

— Написано не много на самом деле. Почти не напечатаны мои стихи, нет книги стихов. Вначале моя инертность, а сейчас их уже очень трудно издавать. Не напечатана еще одна повесть. И все. До 1974 года я писал стихи. Не могу сказать, что их несметное количество, тем более с ними произошла история, видимо, неизбежная в такой ситуации. Их было во много раз больше, но с годами, поскольку они не публиковались, я их уничтожал. Критерии менялись, и каждый раз их круг сужался. Не было нормальной литературной судьбы. Но, наверное, это и к лучшему. Раз показалось, что барахло, значит — барахло. Помните, у Битова правило правой руки Митишатьева: если человек кажется сволочью, значит он и есть сволочь. Получилось, что я и как поэт не очень продуктивен, хоть писал довольно много. Но выходит, что опубликовать стоит не так уж много…

— Об эмиграции в свое время задумывались практически все. Почему вы не эмигрировали?

— Конечно, я много раз примерял на себя эмиграцию. Но я никогда не хотел эмигрировать. Я, видите ли, очень социальный человек. Это не значит, что мои произведения обязательно должны иметь некий социальный смысл. Просто есть несколько

совершенно необходимых мне связей, разрыв которых делает мое существование бессмысленным. Я должен жить жизнью своих читателей, я не могу обращаться к ним со стороны. Это во-первых. Во-вторых, все, что я делаю, — это в некотором роде репортаж с места событий. События могли произойти не сегодня, 10–20 лет назад, но все равно — репортаж. Такова специфика моей работы. Как ни ценю я все и всяческие мысли, для меня на первом плане стоят ощущения. Жизнь для меня первична, а слово вторично, поэтому жизнь должна ощущаться всеми пятью чувствами. Если я себя устраняю из среды, о которой пишу, я теряю право на репортаж, я становлюсь бесплодным. Я всегда это чувствовал, четко не определяя, и убедился, пожив в Израиле. Для меня это абсолютно губительно. Я не знаю, смогу ли я что-нибудь сделать здесь, но то, что я там ничего не сделаю, это я знаю точно.

— Сейчас проблема национальной самоидентификации оказывается в числе ведущих при обсуждении и социальных, и культурных вопросов. Ваша жизнь в Израиле сыграла для вас какую-то роль в этом смысле?

— Понятно, что я всегда себя чувствовал евреем, никогда не переставал себя им чувствовать. Но Израиль — странная страна в этом смысле… Вообще надо сказать, я очень привязался к Израилю. Возвращался я в этот раз в Россию (это была уже третья поездка) с большим сожалением, хотя и хотел, и мечтал уехать. Я там жил трудной, совсем не туристской жизнью, ходил пешком, потому что не было денег на автобус, с трудом зарабатывал просто ни на что, пытался найти любую работу. Я ходил по всяким конторам, чиновникам, вобщем жизнь была как у репатрианта. Жизнь в стране, где ты житель, не гость. Там возникает поразительное ощущение домашности, свойскости, очень теплая, уютная страна. Заманчива безопасность жизни, всеобщая доброжелательность, семейность. Я понимаю, почему люди туда уезжают и хорошо приживаются. Там просто ничего дурного с тобой не происходит. Ты можешь в любом городе без всяких предосторожностей ходить ночью где угодно, с кем угодно общаться. Абсолютно безопасная, совершенно не враждебная жизнь, почти нет драк, это вещь редчайшая, хотя страна забита оружием… Здесь же я чувствую опасность повсюду, опасность и унизительность. Я прошел по переходу с «Горьковской» на «Пушкинскую», стоят ребята с большими плакатами, надежно налепленными на стену: «90 % в репрессивных органах составляли люди одной национальности, угадайте какой». Я угадал…

Я думаю, сегодня ни одному еврею, погруженному в русскую

культуру, в ней существующему, не уйти от ощущения доживания. По всей видимости, русское еврейство кончается. Многое кончается, мы вообще живем на границе эпох. Кончается и это. Мне, доживающему, доживать больше негде, я должен и буду доживать здесь, если, конечно, не случится что-нибудь уж совсем чрезвычайное. Ощущение тягостное, горькое, мириться с ним трудно. Однако, приходится …

18 апреля 1992